

Чтение как подвиг:

Интеллигенция и неподцензурная литература

Людмила Улицкая

* Ludmila Ulitskaya (born in 1943 in Davlekanovo, Bashkiria) graduated from the Moscow State University with B.A. in biology, after which she worked at the Institute of General Genetics, Russian Academy of Sciences, as a research scientist. In 1979, after she was laid off from her position at the Institute, Ms. Ulitskaya became a repertory director for the Hebrew Musical Theatre in Moscow. From the early 1990's, she devoted herself to literary work and playwriting. Ms. Ulitskaya is an internationally acclaimed author of novels, short stories, children books, and plays that have been translated into more than 40 languages and sold over 2 million copies worldwide. Lyudmila Ulitskaya is recipient of top literary awards, including Russian Booker Prize (2002), National Literary Prize BIG BOOK (2007), Austrian State Prize for European Literature for her achievements (2014), Gran Premio delle Lettrici ELLE (2010), Prix Simone de Beauvoir pour la liberté des femmes (2011), Ordre des Arts et Lettres (2004), Budapest Grand Prix (2009), China's National Literature Prize (2005), and other honors. In 2008, she served as Writer in Residence at Stanford University. Among the notable books written by Ms. Ulitskaya are *The Green Tent* (2010), *Daniel Stein, Interpreter* (2006), *All Our Lord's Men* (2005), *Russian Marmelade* (2005), *Childhood Forty-Nine* (2003), *Sincerely Yours, Shurik* (2003), *Women's Lies* (2003), *Girls* (2002), *Funeral Party* (1997), *Medea* (1996), and *Sonechka* (1995).

Вопрос, что такое русская интеллигенция и какое ей можно дать определение, кажется, существует дольше, чем сама эта интеллигенция. И не перестает занимать умы. Несколько лет тому назад меня вызвали к умирающей подруге на Кипр. Она была процветающим юристом-международником, обслуживала многих известных богачей, писала к тому же стихи, и вообще — Царствие Небесное! Я прилетела с пятью пересадками, вошла в палату, она всех выставила, потому что ей надо было задать мне важный вопрос. Я просто затрепетала... о чем? О дележке наследства? О месте захоронения? Об каких-то особых посмертных поручениях? Все вышли, и она спросила у меня: Люсь, как ты думаешь, что такое интеллигенция? Я была ошарашена, но ответила: пожалуй, интеллигенция — это образованные люди, деятельность которых не мотивируется корыстью... Она покачала головой: нет... В ту же ночь умерла... Оставив меня с в недоумении — почему в последний час жизни ей был важен ответ на этот вопрос.

Я не отвечу, но попытаюсь. Характеристики этого исчезающего вида расплывчаты: интеллигенты бывали либералами и консерваторами, с устремлением к Европе и тягой на Восток, верующие и атеисты, трудоголики и бездельники, всегда гуманистами, и всех их мы встречаем на страницах нашей великой классической... Одна из самых общих черт, как мне представляется, чтение как насущная потребность. Характер чтения определялся временем, местом и личными склонностями. Несколько лет тому назад я прочитала письма и дневники моего деда с 1911 года до 1937 года, там были и постоянные записи о прочитанных книгах и списки книг, которые надо прочитать немедленно, в этом месяце и в этом году. И это заставило меня вспомнить о моем собственном чтении, начавшемся полвека спустя, после смерти деда.

У каждого поколения есть свои определенные черты. Я принадлежу к поколению, которое задним числом назвали поколением «бэби-бумеров» — 1943 -1963 гг. рождения. Этот термин придумали в 1991 году, когда вообще разглядели эту проблему. До этого времени, от самой седой древности, со времен Сократа, который, кажется, первым пожаловался на невежественность молодого поколения, старики жаловались на молодое поколение. На папирусе, на бумаге, даже на глиняных табличках есть эти жалобы. То есть, в глазах старшего поколения новые всегда по своим качествам уступают старикам.

В обобщениях всегда есть большое удобство и еще большая приближенность. Обычно поколению «бэби-бумеров» приписывались следующие свойства — заинтересованность в личном росте, коллективизм, командный дух и прочее. Наверное, так оно и есть, но я вероятно представляю некоторую маргинальную часть этого поколения, основной ценностью которого было чтение. Именно так — не книги, а само чтение. Страстное, напряженное, умное и трудное чтение. К тому же и опасное, потому что за чтение могли выгнать из института, с работы, даже посадить в тюрьму. Чтение было связано с риском, требовало смелости, и уж во всяком случае, преодоления страха. Это был своего рода подвиг.

Когда я обдумывала эту тему, я набрела на замечательную статью Аверинцева в сборнике, посвященном памяти Мандельштама. Называлась она «Страх как инициация — одна тематическая константа поэзии Мандельштама». Там приведена цитата из «Египетской марки» Мандельштама: «Страх берет меня за руку и ведет... Я люблю, я уважаю страх. Чуть не сказал: «с ним мне не страшно!» Математики должны были

построить для страха шатер, потому что он координата времени и пространства: они, как скатанный войлок и в киргизской кибитке, участвуют в нем. Страх распрягает лошадей, когда нужно ехать, и посылает нам сны с беспричинно низкими потолками».

Я ахнула, когда прочитала эту фразу — мы прежде не догадывались, что у Мандельштама страх был так связан с его творчеством. И тень этого страха легла и на нас, читателей советского времени. Но, правду сказать, наше чтение тоже было творчеством своего рода. И связано это было с тем, что мы жили в мире, где некоторая неопределенная часть книг считалась запрещенными. И чтение таких книг каралось законом. Существовала статья Уголовного кодекса 190, позже статья 70, в соответствии с которыми можно было получить от пяти до семи лет тюремного срока за хранение и распространение антисоветской литературы. Из этого следовало, что была литература разрешенная и запрещенная.

Никто из моих знакомых никогда не видел списков запрещенных книг. Если такие списки и существовали, то хранились где-то в столах гебешного начальства. Прошло много лет, прежде чем пришло понимание этой границы — разрешенного и запрещенного. Это был старинный российский вопрос, и мы были не первым поколением, которое с ним столкнулось. А были ли разрешены эпиграммы Пушкина, ходившие по рукам в начале 19-го века? Лицейские шалости, матерные вирши, «Гаврилиада», в конце концов? Они были неподцензурными... Российская цензура всегда хорошо работала. Достаточно вспомнить историю Чаадаева с его «Философическими письмами», Радищева, издавшего свое «Путешествие из Петербурга в Москву» в 1790-м году и получившего смертный приговор за это сочинение. Милосердием Екатерины Второй этот приговор заменили десятилетней ссылкой в монастырь, но книга эта была впервые напечатана в 1905-м году, после первой русской революции, спустя сто с лишним лет после ее написания. До той поры книга Радищева ходила «в списках». Специалисты считают, что их было около сотни. Во всяком случае Пушкин читал именно такой список, к нему и давал свои комментарии. Таким образом, есть все основания говорить, что и Александр Сергеевич Пушкин читал «самиздат».

Ко многим книгам, которые попадали в руки во времена нашей молодости, было такое отношение, что их надо быстро прочитать, вернуть хозяину или передать товарищу, но чужим не показывать. Вообще почти любая книга — ценность, и это доказывали также огромные очереди, которые выстраивались, когда объявляли подписку на невинных классиков. Впрочем, так ли они невинны? И Толстой, и Достоевский, и Лесков имели неприятности с цензурой и при жизни, и даже после смерти. История российской цензуры уже написана, и она чрезвычайно интересна.

Историю каждого человека можно описать разными способами: через его генетику, то есть унаследованные им от родителей свойства и черты, через образование — где, чему и сколько человек учился, через общение — с кем общался, дружил, соседствовал, а можно и через последовательность прочитанных книг. Попытаюсь восстановить свою...

Как это ни смешно, даже мои первые детские книги не относились к числу разрешенных, они давно уже были изъяты из библиотек, хранились в «спецхране» и выдавались по специальному разрешению. Это были книги из книжного шкафа моей

бабушки Елены Марковны, которая успела закончить гимназию в 1917 году и сохранила девчачьи романы Чарской, чудесную книгу Луизы Олькотт «Маленькие женщины», и они же, ставшие взрослыми, там же была и книжка о маленьких японцах и маленьких голландцах, и подшивка журнала «Задушевное слово»... В этом же шкафу я нашла и первую настоящую книгу «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» неизвестного мне автора Мигеля де Сервантеса Сааведра, академическое издание... Другой книжный шкаф, который пополнил мое образование немного позже, принадлежал второй бабушке, Марии Петровне. Он был поинтереснее и поопаснее, но до него еще надо было дорасти: «Камень» Мандельштама и «Четки» Ахматовой, «Котик Летаев» Андрея Белого, «Образы Италии» Муратова и «Толкование сновидений» Фрейда, даже, прости Господи, томик Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» с насмешливыми пометками покойного деда. Кстати, там же я нашла книжку, которая у меня сейчас хранится дома (много документов бабушки и дедушки я отдала в архив, а эту не отдала) — «Восстание ангелов» Анатоля Франса. Она имеет очень странный вид — в самодельном переплете, а переплет короче, чем формат страниц: приблизительно на палец страницы сверху вылезают. На последней странице написано: «Этот переплет я сделал из краденой папки и старых носков в самые тяжелые дни пребывания моего в камере №3 в Сталинградской тюрьме». Дальше дата — март 1934 год. И подпись моего деда.

В шкафу бабушки Маруси обнаружилась и русская Библия, интерес к которой проснулся у меня позже. Это была домашняя книга, читаная, даже зачитанная, с подчеркиваниями. Была и вторая Библия, у прадеда с материнской стороны, с параллельным переводом, на иврите и на русском. Но это была Тора, без Нового завета. Обе хранятся по сей день у меня дома.

Здесь не могу не сделать отступления — о Библии. Библией называли тогда Ветхий и Новый Завет под одной обложкой. Библия в годы моего детства была книгой редкой, изданной до революции, а после революции издавалась она только в издательстве Патриархии, можно сказать, только для служебного пользования, как какая-нибудь внутренняя инструкция ЦК или КГБ. Купить ту Библию было почти невозможно. Но я прекрасно помню Евангелие, переписанное церковной старушкой от руки, как в догутенберговские времена. Самиздат, между прочим!

Первое Евангелие, которое я купила в подарок моей подруге году в 60-м, было приобретено у таможенника, который конфисковал эти издания в Аэропорту, когда их пытались ввести в нашу не эвангелизированную страну иностранцы. С таможенником свела меня красавица, живущая в нашем дворе. Она была валютная проститутка, но слов таких мы еще не знали. Евангелие было новенькое, изданное на русском языке бельгийским издательством «Жизнь с Богом», стоило 25 рублей. Моя университетская стипендия составляла 35 рублей. Это для размерности суммы — Евангелие было дорогой книгой. Таможенник неплохо зарабатывал, но покупатели не были в претензии.

Продолжу повествование о книжных шкафах. Моими воспитателями были два шкафа моих бабушек и еще один, третий, в квартире моей подруги-одноклассницы Лары. Интеллигентная русско-еврейская семья из Тбилиси, шкаф большой. Все книги стояли корешком вперед, а некоторые позади, припрятанные. Оттуда мы с Ларочкой однажды вытащили две книжки. Одна была «Декамерон» с иллюстрациями. Я узнала

тогда, что такое гульфик и, кажется, именно тогда проявила к нему интерес. Книжка была очень увлекательной, мы ее долго разглядывали, прочитали, но она не показалась нам особенно смешной. Наверное, только современники могли здорово смеяться над этими довольно тривиальными историями.

Вторая книжка был сборник стихотворений Бориса Пастернака, «Избранное» 1934 года издания. Там было стихотворение, которое я не могу не привести — оно было чрезвычайно важно для меня. Думаю, что оно важно для всех — там есть важная формула взаимоотношений человека с поэзией:

Так начинают. Года в два
 От мамки рвутся в тьму мелодий,
 Щебечут, свищут, — а слова
 Являются о третьем годе.
 Так начинают понимать.
 И в шуме пущенной турбины
 Мерещится, что мать — не мать
 Что ты — не ты, что дом — чужбина.
 Что делать страшной красоте
 Присевшей на скамью сирени,
 Когда и впрямь не красть детей?
 Так возникают подозренья.
 Так зреют страхи. Как он даст
 Звезде превысить досяганье,
 Когда он — Фауст, когда — фантаст?
 Так начинаются цыгане.
 Так открываются, паря
 Поверх плетней, где быть домам бы,
 Внезапные, как вздох, моря.
 Так будут начинаться ямбы.
 Так ночи летние, ничком
 Упав в овсы с мольбой: исполнься,
 Грозят заре твоим зрачком,
 Так затевают ссоры с солнцем.
 Так начинают жить стихом.

Для девочки 12-13 лет текст не вполне внятный, но тем не менее, с этого момента или около него началась моя жизнь с поэзией.

Пути моего чтения были прихотливы, а отношения с писателями складывались по законам любовного романа: первое прикосновение, жар и пыл, потом либо охлаждение, либо пожизненная любовная связь, со взлетами и падениями. Классе в пятом-шестом произошел роман с О. Генри. Тронул меня лаконизм рассказов и элегантность финала. На каждой странице коричневого лохматого томика (до сих пор жив!) засохшие капли супа и компота. Наизусть. И вовсе не Чехов. Нисколько не Чехов! А потом начинался Толстой. «Хаджи Мурат». На всю жизнь. И нисколько не Достоевский. И не Диккенс, а Томас Манн... Продолжается Пастернак, появляется Мандельштам.

В год окончания школы — 1960-й — меняется ландшафт, у меня появляется новая подруга, Наталья Горбаневская. Настоящий живой поэт. В те времена Наташа издавала свои стихи сама. Поэт Николай Глазков еще в 40-ых годах запустил термин «самсебяиздат», но к тому времени мы уже знали, что это называется «самиздат» — Наташа делала маленькие сборники, печатала их на папиросной бумаге, поэтому, наверное, ей удавалось печатать по семь экземпляров. Очень красиво и элегантно их брошюровала. Книжечки были тоненькие. Все эти книжечки я передала пятьдесят лет спустя в архив «Мемориала» — они ездят по всему миру с выставками, посвященными тому времени.

Таким образом, первый настоящий самиздат, с которым я встретилась, — книги Натальи Горбаневской. Три года тому назад я ехала в электричке из Шереметьево домой, откуда-то прилетевши из-за границы, бросила взгляд за окно — там было дивно прекрасно: только что выпавший снег, согнувшиеся в три погибели березы, а ехала я из жарких стран, где никакого снега нет. Глаз очень радовался. Всякий раз, когда у меня радуется глаз красоте природы, я вспоминаю, как мантру, одно стихотворение Наташи Горбаневской:

Я в лампу долю керосина.
Земля моя, как ты красива,
в мерцающих высях вися,
плетомая мною корзина,
в корзине вселенная вся.

Земля моя, как ты красива,
как та, что стоит у залива,
отдавшая прутья свои,
почти что безумная ива
из тысячелетней любви.

Земля моя, свет мой и сила,
судьба моя, как ты красива,
звезда моя, как ты темна,
туманное имя Россия
твое я носить рождена.

Когда я приехала домой, все еще бормоча про себя это стихотворение, мне позвонили и сказали, что Наташа умерла. И совершенно нерасторжимым образом слилось для меня это стихотворение и сообщение о ее смерти, и это чувство красоты ее жизни — «судьба моя, как ты красива».

Благодаря Наташе я очень рано познакомилась с питерской поэзией начала 60-ых годов. В те годы еще было неизвестно, какой из четверых молодых питерских поэтов совершит своего рода поэтическую революцию: Рейн, Найман, Бобышев или Бродский. Первой это поняла Анна Андреевна Ахматова. Хотя, надо сказать, что и остальные трое обладают большими достоинствами. Но масштаб! Первые стихотворения Бродского пришли от Наташи.

Вот стихотворение раннего Бродского, написанное уже в 1969-м году. Я не могу отказать себе в удовольствии его привести, тем более что сегодня, когда я пишу этот текст, на дворе как раз второе января, вторник... И тысячелетие уже не то, о котором поминал Пастернак...

Так долго вместе прожили, что вновь
второе января пришлось на вторник,
что удивленно поднятая бровь,
как со стекла автомобиля — дворник,
с лица сгоняла смутную печаль,
незамутненной оставляя даль.

Так долго вместе прожили, что снег
коль выпадет, то думалось — навеки,
что, дабы не зажмуривать ей век,
я прикрывал ладонью их, и веки,
не веря, что их пробуют спасти,
метались там, как бабочки в горсти.

Так чужды были всякой новизне,
что тесные объятия во сне
бесчестили любой психоанализ;
что губы, припадавшие к плечу,
с моими, задувавшими свечу,
не видя дел иных, соединялись.

Так долго вместе прожили, что роз
семейство на обшарпанных обоях
сменилось целой рощею берез,
и деньги появились у обоих,
и тридцать дней над морем, языкат,
грозил пожаром Турции закат.

Так долго вместе прожили без книг,
без мебели, без утвари, на старом
диванчике, что прежде чем возник
был треугольник перпендикуляром,
восставленным знакомыми стоймя
над слившимися точками двумя.

Так долго вместе прожили мы с ней,
что сделали из собственных теней
мы дверь себе — работаешь ли, спишь ли,
но створки не распахивались врозь,
и мы прошли их, видимо, насквозь
и черным ходом в будущее вышли.

Сегодня, когда прошло около шестидесяти лет с тех пор, как я начинала свое опасное чтение, я могу с уверенностью сказать, что, с шестидесятих годов начиная,

была выстроена целая индустрия подпольного чтения. Существовали три принципиально разных источника:

1. Дореволюционные и довоенные книги, которые оказались под запретом. Это главным образом «религиозка» — Василий Розанов, Бердяев, Флоренский, Владимир Соловьев. Русский литературный авангард начала века пришел позднее.

2. Написанные в России, не изданные официально или уничтоженные после издания, изготовленные одним из домашних способов — фотокопированием, перепечаткой на машинке, в редких (и более поздних) случаях ксерокопированием. Начиная от Василия Гроссмана до Солженицына, Шаламова, Евгении Гинзбург, Надежды Мандельштам, Венечки Ерофеева.

3. Привезенные или присланные из-за границы издания на русском языке. Кроме уже упомянутого издательства «Жизнь с Богом», к нам попадали через приезжих иностранцев и дипломатов книги на русском языке, изданные в ИМКА-пресс, РСХД, наконец, в издательстве Ардис. Это был первый «тамиздат».

Для меня лично самиздат начинался как поэтический. Кроме перепечатанных на машинке стихотворений Цветаевой, Гумилева, Ахматовой и Мандельштама, существовали и поэтические самиздатские журналы — «Синтаксис», собранный Александром Гинзбургом, несколько ленинградских поэтических журналов. Но главное, что необходимо понять — самиздат был чрезвычайно разнообразен, и он не исчерпывался поэзией. Кроме поэтического и уже упомянутого религиозного, существовал самый опасный вид самиздата, политический. Он был ошеломляющий по воздействию: это в первую очередь Орвелл с его «Скотской фермой» и романом «1984 год», и некоторое количество чисто политических исследований, не поднимающихся на такой высокий художественный уровень — «Технология власти» Авторханова, «Большой террор» Конквеста, «Новый класс» Джиласа... Существовал самиздат художественный переводной, научный, националистический, неомарксистский и даже музыкальный.

Мы читали днями и ночами, читали годами, и росли вместе с чтением. Репрессии за изготовление самиздата ужесточались, редко какое регулярное издание выдерживало больше трех номеров, редакторов, составителей и машинисток ловили и сажали. В 1965-м году прошел процесс над Синявским и Даниэлем, опубликовавшими свои книги за рубежом, и после этого процесса посажены были десятки людей. Кстати, посадили и Александра Гинзбурга, составившего «Белую книгу», посвященную именно этому процессу над двумя писателями. Он же был и автором самиздатского поэтического журнала «Синтаксис». Несколько позже, в 1968-м году, стали выпускать «Хронику текущих событий», два десятка смельчаков собирали по все стране материалы о репрессиях, о тех политических процессах, которые шли в те годы. Это издание поставило рекорд долгожительства.

Вернусь к моему личному чтению. 1965 год стал для меня годом, когда я открыла сразу двух великих русских писателей, которые стоят как пограничные столбы русской литературы — Платонов и Набоков.

Так случилось, что их книги почти одновременно попали ко мне в руки. Надо сказать, это было очень тяжелое испытание. Две такие, не хочу сказать — взаимоуничтожающие, но во многом очень противоположные, вскипающие друг от друга стихии. Платонова тогда напечатали — первое посмертное издание. С Набоковым было интереснее: один студент, с другого факультета, канадец русского происхождения, дал прочитать «Приглашение на казнь». Это был абсолютный переворот для меня — я поняла, что есть другая русская литература, помимо русской классической и русской советской. Советскую я не читала из внутреннего протеста. Какой может быть Пашка Корчагин, Павлик Морозов и Зоя-Таня Космодемьянская, когда «уже написан Вертер»? Даже хорошую «сов.литературу» не читала — это был мой личный снобизм. Морщила нос. Никакого Трифонова — он потом, очень запоздало был прочитан, и было уже не так интересно. И зачем мне было читать «Зубра», когда я слушала лекции Тимофеева-Ресовского? И я все читала книжки из шкафов, уже не бабушкиных, а других людей. Один был Анатолий Васильевич Ведерников, в те годы заместитель редактора ЖМП — журнала Московской Патриархии. У него была прекрасная домашняя библиотека, от Розанова до Мережковского. Вторая — отца Александра Меня. Обоим благодарна по гроб жизни. Но вот когда попал в руки роман «Приглашение на казнь», все перевернулось. Это было абсолютным потрясением.

В университете в те годы была некая фарцовщица, которая занималась профессиональной перепродажей всего, чего угодно. В те годы всего, чего угодно, и не было: туфель, колготок, чулок, помад, трусиков и лифчиков. Книгами она вообще-то не занималась. Я к ней пришла в корпус «Л» высотного здания на Воробьевых горах купить не помню что. Может, сапоги. И увидела в кресле книжку, которая называлась «Дар», и автором ее был уже знакомый мне Набоков. Глаз мой загорелся таким пламенем, что она как опытный продавец сказала, что книга не продается. Это было сильное заявление, но ответ мой был еще сильнее: я сняла с руки бриллиантовое бабушкино кольцо, отдала ей и взяла книгу. Надо сказать, что ни одной минуты я не пожалела об этом кольце. Книга оказалась настоящим бриллиантом. Она читана-перечитана мной, всеми моими друзьями. Она даже после «Приглашения на казнь» была ошеломляющей.

В 1968-м году я закончила университет, попала в институт Общей генетики Академии наук, что было лучшим распределением. Время большого чтения продолжалось. Книжки приходили, прибегали, прискакивали сами. В конце 60-ых — начале 70-ых годов возникло движение евреев за выезд, за эмиграцию. Ворота страны то слегка приоткрывались, то закрывались, и в это время стали выходить периодические журналы «Евреи в СССР», «Таргут». У меня не было намерения уезжать в Израиль, но все, с этим связанное было дико интересно: про историю образования этой страны мы ничего не знали или знали очень мало. В те времена я даже не знала чрезвычайно важного семейного факта, что мой дедушка Яков получил свой десятилетний срок лет за то, что работал в еврейском антифашистском комитете (ЕАК), большая часть которого была расстреляна. Его посадили, потому что он, владеющий несколькими иностранными языками, составлял политические обзоры для Михоэlsa, председателя ЕАК, на основании иностранных газет — что происходит в Израиле, что говорят об этом арабы, какие там есть партии и что об этом пишут англичане, немцы, французы.

Именно в те годы в руки мне попала книжка «Исход» писателя Леона Уриса. Это довольно посредственный роман, но действие в нем происходит поначалу в российских местечках, а потом во времена образования Израиля, и там было очень много фактического материала. Я роман прочитала бегло, потому что дали на короткое время, но мне очень захотелось его иметь. У меня была пишущая машинка «Эрика», мне ее подарила мама к окончанию университета. Печатала я плохо, до сих пор печатаю медленно. Мы нашли машинистку, выдали мою машинку, потому что своей у нее не было, и она взялась за перепечатку «Исхода». Ждали, ждали, а потом выяснилось, что машинку вместе с перепечаткой и книжкой забрали в КГБ. Кто-то стукнул. Не буду рассказывать о деталях этой истории, но на этом закончилась биологическая карьера не только моя, но и еще нескольких людей, с которыми мы вместе работали — закрыли всю лабораторию. Так закончился мой роман с биологией. На самом деле, не закончился — если бы сегодня я снова должна была идти учиться, то снова бы пошла изучать генетику. Точно — не в писатели. Однако, надо признать, что к писательству привела меня любовь к чтению. К тому трудному, ответственному, жизненно-важному чтению, которым было заражено мое поколение, по крайней мере некоторая его часть, к которой и я имела честь принадлежать.

Собственно, на этом можно было бы и закончить. В 1990 году в России был принят закон о запрещении цензуры. В течение двух лет почти все те книги, которые были опасным чтением, появились на прилавках книжных магазинов. Издательства не сделали на этих книгах бизнеса. У меня даже было такое впечатление, что все, кому было это рискованное чтение интересно, уже все прочитали. Может быть, самый яркий пример — «Архипелаг Гулаг», за который более всего сажали и трепали. Он лежал в начале 90-х не только на прилавках магазинов, но и на всех переходах, но никто его не расхватывал. Парадоксально, но эта великая книга-подвиг оказалась гораздо важнее на Западе, чем на родине. Коммунистическое движение во Франции и в Италии пошло на спад после того, как западные коммунисты узнали о большом терроре, о роли ЧК-НКВД-КГБ в жизни страны и отшатнулись от коммунистического режима, от сталинизма. Но как раз в России этого не произошло. Книга, по-видимому, так и осталась неп прочитанной, потому что через несколько лет после крушения советской власти народ дружно проголосовал за человека, воспитанного в старых традициях КГБ. Здесь же и корень возрождающегося в нашей стране сталинизма.

Эпоха чтения началась для человечества за 6-5 тысячелетий до нашей эры, когда оформилась письменность и информацию стали передавать от человека к человеку с помощью алфавитов, изобретенных гениями человечества. Первые расшифрованные записи носят финансовый характер — это долговые книги и «проводки», как сказали бы современные бухгалтеры. Похоже, что сакральные тексты моложе финансовых.

В начале 15-го века произошло еще одно событие, изменившее путь цивилизации — было изобретено книгопечатание, началась новая эра, эра Гутенберга. Сегодня мы находимся на пороге следующего этапа в жизни человечества: информационная революция уже отменяет книги, а рвущаяся вперед наука и современные технологии, по всей вероятности, скоро изменят и самого человека таким образом, что информация будет считываться мозгом напрямую с носителей, минуя механизм привычного нам чтение. Для получения информации не надо будет совершать никаких подвигов, достаточно сделать один клик.

Но есть одна загадка: если подвиг чтения больше никому не нужен, то почему мы снова чего-то боимся? Почему остается страх? Кажется, загадка невелика, но об этом стоит подумать.

Если бы моя покойная подруга задала свой предсмертный вопрос «Что такое интеллигенция» сегодня, я бы, пожалуй, ответила несколько иначе: это образованные люди, обладающие интеллектуальным бесстрашием, деятельность которых не мотивируется корыстью... Но, к сожалению, этого «тайного ордена» больше не существует.

Интеллигент, как бы не определять его свойства, представляется большинству сограждан по преимуществу фигурой комической. Более того, я позволю себе смелость сказать, что российская интеллигенция покончила свое существование самоубийством. Произошло это в 20-е- 30-е годы прошлого столетия. Под напором власти интеллигенция предпочла «развоплотиться», и этому послужили выдающиеся писатели своего времени, создав целую портретную галерею героев, которых можно узнать и в «Хулио Хуренито» Эренбурга, и в «Двенадцати стульях» и «Золотом теленке» Ильфа и Петрова, и во многих других литературных героях, обеспечивающих само явление «русской интеллигенции». В заключение приведу отчаянное и убедительное высказывание Юрия Олеши, тоже бросившего свой камень на могилу «русского интеллигента», сделанное им в 1930-м году:

«Мы, писатели интеллигенты, должны писать о самих себе, должны разоблачать самих себя, свою «интеллигентность»... Взгляд мой на положение интеллигенции крайне мрачен. Надо раз навсегда сказать следующее: пролетариату совершенно не нужно то, что мы называем интеллигентностью... Я хочу перестроиться. Конечно, мне очень противно, чрезвычайно противно быть интеллигентом. Вы не поверите, быть может, до чего это противно. Это — слабость, от которой я хочу отказаться»

Нам, сегодняшним потомкам тех, кого называли интеллигенцией, осталась одна общая слабость — любовь к чтению.